



Фонд «Либеральная Миссия»

Свобода и Право

А. В. Оболонский

**Этика
публичной
сферы
и
реалии
политической
жизни**

ИЗДАТЕЛЬСТВО «МЫСЛЬ»

А. В. Оболонский

ЭТИКА
ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ
И РЕАЛИИ
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ЖИЗНИ


•МЫСЛЬ•
Москва
2016

УДК 32.001:172
ББК 87.751
О-21

Рецензенты:

д. филос. н. Л. Д. Гудков,
д. юрид. н. М. А. Краснов,
д. филос. н. А. В. Прокофьев



О-21 **Оболонский, Александр Валентинович**
 Этика публичной сферы и реалии политической жизни /
А. В. Оболонский. — Москва : Мысль, 2016. — 448 с.
 ISBN 978-5-244-01186-9

Книга профессора Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» А. В. Оболонского посвящена теме, которая, как показывает окружающая реальность, становится одной из самых насущных для дальнейшего развития России, для вывода ее из того тупика, в котором она оказалась. Автор апеллирует к широким кругам читателей, озабоченных неблагополучием отечественной публичной сферы, особенно к молодежи, к современному студенчеству, в доступной форме излагая основные этические, правовые и ценностные коллизии и «трудные места» политической повседневности, возникающие в общественной жизни при взаимодействии граждан и властных структур. Этому способствует и личная интонация автора, его эмоциональная, ценностная включенность в анализ рассматриваемых отношений. Яркие и хорошо подобранные примеры и цитаты как из документов и научных исследований, так и из произведений известных писателей обогащают изложение и делают его более объемным, а трактовки — исторически наглядными. Дополнительную практическую ценность книге придают приложения — этико-правовые документы, определяющие нормы поведения и запреты для политиков и чиновников в США, Великобритании, Канаде и России.

УДК 32.001:172
ББК 87.751

ISBN 978-5-244-01186-9

© Мысль, 2016

СОДЕРЖАНИЕ

Введение. Моральные ценности — «спасательный круг» в меняющемся мире	7
ЧАСТЬ I	
ЭТИКА ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ:	
МОРАЛЬНОЕ И АМОРАЛЬНОЕ	
Глава 1. Советский режим — апогей аморальных механизмов властствования	16
Ленинский этап «социальной вивисекции». — Сталинщина: морально-психологические механизмы (Новая «элита»: люмпены-выдвиженцы. — Финал интеллигентской трагедии: трава под асфальтом. — Церковь на коленях. — Победоносная война против крестьянства. — Власть рабочих?) — Общество, отправленное моральной легитимацией террора. — Проблема обманутого поколения. — О феномене «муравьиного героизма»	
Глава 2. Аномия — атрибут общества транзита	46
Негативный социальный отбор (история). — Консервативный синдром массового сознания (элементы)	
Глава 3. Моральные издержки экономического редукционизма	62
Экономический детерминизм. — Психологический ресентимент. — Мораль бывает сильнее экономики	
Глава 4. Об «особой роли» государства в России	71
Патриотизм как моральная категория	
Глава 5. Политический цинизм: концепт и российская реальность	79
Происхождение слова и понятия. — Посттоталитарный синдром сознания. — Почему цинизм несовместим с патриотизмом. — Движение мира к моральной политике. — Политический романтизм и идеализм как позитивные факторы	
Глава 6. Геополитика — фантом ложного сознания: реинкарнация или агония?	92
Химеры геополитики разбужены и выпущены на волю. — Почему геополитика нашла отклик в сознании россиян. — «Особый путь» в никуда	

Глава 7. Моральный парадокс: гражданское недоверие к власти как позитивный фактор политического развития	104
Коррупция в контексте проблемы доверия. — Десакрализация государства как фактор доверия	
Глава 8. Политический протест как элемент политической культуры и позитивный моральный фактор	121
Нью-Йорк — Вашингтон — Турция — Украина — Россия — Несколько общих соображений	
Глава 9. Этика члена гражданского общества	135
Глава 10. Этика и право	141

ЧАСТЬ II

ЭТИКА РАЗЛИЧНЫХ СФЕР ПУБЛИЧНОЙ ЖИЗНИ: ДОЛЖНОЕ И СУЩЕЕ

Глава 1. О понятии политической этики	150
Выгодно ли быть моральным?	
Глава 2. Основы этики политика	156
Моральность в политике и демократия. — Проблема просвещенного («хорошего») автократа. — Повышенная моральная ответственность политиков	
Глава 3. Парламентская этика	169
Сущность, основные компоненты парламентской этики и типичные нарушения. — Английский опыт. — Семь принципов публичной сферы	
Глава 4. Этика государственных служащих	180
Кризис традиционной парадигмы. — Этический кодекс как «моральный навигатор». — Канадские кодексы. — Компоненты этического режима (Канадский опыт. — Американский опыт). — Проблема служебной репутации. — Моральный аспект роли административного руководителя. — Моральные самоограничения чиновников и контроль над ними. — Российская ситуация	
Глава 5. Этика выборов	208
На этапе кампании. — На самих выборах. — После выборов. — Политехнология и мораль. — Негативные последствия пренебрежения моралью	

Глава 6. Этика политической журналистики	
(автор Д.А.Голубовский)	216
Международные принципы профессиональной этики	
в журналистике. — Журналисты и источники. —	
Журналисты и ложь. — Журналисты и нежурналисты	
Заключение. Публичная этика против цинизма	
«государственников».....	235

ПРИЛОЖЕНИЯ

США	242
Исполнительный указ Президента США «Принципы этики	
поведения должностных лиц и служащих госаппарата».	
Принят в октябре 1990 г. во исполнение Закона 1989 г.	
«О реформе этических норм» (выдержки).....	242
Перечень действий, запрещенных по отношению к персоналу	
и претендентам на поступление на госслужбу (выдержки	
из Закона 1978 г. «О реформе гражданской службы»)	243
Нормы этического поведения служащих органов исполнительной	
власти. Документ Управления правительской этики. 2003 г.....	244
Великобритания	349
Семь принципов поведения в публичной сфере (из первого	
доклада Комитета по стандартам публичной сферы)	349
Выдержки из первого доклада Комитета по стандартам	
публичной сферы	350
Проект Кодекса поведения для членов парламента	358
Выдержки из пятого доклада Комитета	
«Финансирование политических партий	
в Великобритании» (1998 г.)	359
Канада	402
Кодекс ценностей и этики для государственной службы	402
Кодекс конфликта интересов и регулирования обязательств после	
ухода с госслужбы для руководителей госорганов (публикуется	
с сокращениями)	420
Россия	435
Закон «О государственной гражданской службе	
Российской Федерации» от 7 июля 2004 г. (выдержки).....	435
Указ Президента РФ от 12 августа 2002 г. № 885 «Общие	
принципы служебного поведения государственных служащих»	443

ВВЕДЕНИЕ

Моральные ценности — «спасательный круг» в меняющемся мире

Если погибнет справедливость,
жизнь людей на Земле потеряет
свой смысл.

Иммануил Кант

Чувства и страхи, стоящие за приписываемой Конфуцию фразой «Не приведи бог жить в эпоху перемен»¹, сопутствуют почти всей истории человечества, исключая разве что эпохи «стабильного застоя». Как и ностальгия по «доброму старому времени». Ведь каждый исторический период, если в нем происходило хоть какое-то развитие, в определенном смысле есть время перемен, которому неизбежно сопутствуют не только приобретения, но и издержки, порой довольно серьезные (или кажущиеся современникам такими). Субъективное восприятие перемен как угрозы привычному порядку вещей было присуще едва ли не каждому поколению. Особенно это справедливо по отношению к последним векам, когда ход истории ускорился. Ламентации на тему «О времена! О нравы!», перемежаемые призывами к «стабильности и порядку» и угрозами в адрес стремящихся к перемене порядка, почти дежурный рефрен у всех видов консерваторов и обскурантов и в века минувшие, и в наши дни.

И все же ситуация последних десятилетий и особенно начала нового тысячелетия, думаю, отличается от предыдущих. Никогда еще в человеческой истории практически одновременно не происходило такого количества кардинальных изменений в самых разных сферах жизни. Причем перемены, затрагивающие самые основы традиционного образа жизни большей части человечества, самым невероятным образом переплетаются с ранее устоявшимися, привычными моделями и стилями поведения и мышления. Тот «шок от столкновения с будущим», о котором почти полвека назад предупреждали американский социолог Д. Белл и Римский клуб, наступил. И реакция на него в разных регионах планеты и даже на уровне отдельных индивидов оказалась далеко не однозначной и уж во всяком случае далекой от оптимистических ожиданий технократов и иных сциентистов. Многие мудрые люди говорят о системном кри-

¹ А. Камю в своей Нобелевской речи использовал вариант — «в интересное время».

зисе современной цивилизации. Правда, при этом в понятие кризиса совершенно не обязательно вкладывается некий катастрофический и, тем более, апокалиптический смысл: он рассматривается как этап болезненного перехода на некий иной уровень цивилизации. Но, так или иначе, речь идет о переломном времени. Некоторые даже называют происходящее ни много, ни мало, «антропологическим сдвигом» и предрекают в обозримом будущем радикальные изменения в самой природе человека. Впрочем, оставим эту глобальную тему философам и культурологам и перейдем к нашим собственным, тоже достаточно широким, сюжетам.

Один из симптомов нынешнего переходного времени — серьезный пересмотр отношения людей (причем не столько так называемой «элиты», сколько людей обычных, « рядовых») к существующим политико-государственным и общественным институтам, в частности к обязанностям тех, кто играет в них лидерские или коммуникационные роли. В политическом плане это — сдвиг от «демократии доверия» к «демократии участия и контроля». Параллельно происходит значительное повышение внимания к **ценостным** императивам и регуляторам поведения людей, особенно должностных лиц. Проявляется это как в секулярном, так и в религиозном пластиках сознания и интеллектуальных поисков. И если бы обращение к сути кантовского нравственного императива, причем в любой его редакции, стало главной, определяющей тенденцией современности, то и мир стал бы иным, лучшим местом для жизни. К несчастью, это не так.

Ибо с очевидностью проявились и симптомы разрушения морали, начиная с «ренессанса» терроризма и массовых убийств (причем организуемых и исполняемых на высоком технологическом уровне) до девальвации таких понятий, как честь, репутация, взаимопомощь. К счастью, этим симптомам противостоят, и порой весьма эффективно, гуманистические тенденции, проявляющиеся, например, в разных формах общественной солидарности и самоорганизации в ответ на постигающие других (что важно!) стихийные и «рукотворные» бедствия. Один из самых ярких и свежих образцов последнего — помочь и поддержка, оказываемая беженцам с ближневосточных и североафриканских «театров войны». Конечно, проблема эта очень непростая и имеет множество аспектов. Есть и разные взгляды на нее, и элементы спекуляции, причем с разных сторон. Нисколько не претендую в данном случае на какие-либо особые суждения, я упомянул о ней лишь в качестве примера высокоморального ответа множества людей на вызовы агрессивного аморализма.

Но обратимся собственно к России — главному объекту наших тревог и забот.

Сформированное в современной России **полицейско-чиновничье государство с квазидемократическим фасадом** в его нынешнем виде и формах с очевидностью вошло в полосу кризиса и не в состоянии отвечать на вызовы времени. И на первый, поверхностный, взгляд ситуация настолько неблагополучна, что может показаться, что тут уж «не до морали». Однако мне представляется более адекватной, да и просто близкой, логика, согласно которой от *гражданских и моральных качеств людей зависит больше, чем от правителей и политических институтов*. Еще О. фон Бисмарк, резюмируя в мемуарах свой полувековой опыт государственного деятеля, заметил, что если с плохими законами, но хорошими чиновниками все же можно добиваться результатов, то с плохими чиновниками никакие законы не помогут. А один из самых светлых людей прошедшего столетия — А. Швейцер — человек, пожертвовавший незаурядными талантами музыканта и философа, чтобы посвятить большую часть жизни оказанию медицинской и духовной помощи обитателям глухого уголка тропической Африки, писал в своей удивительной книжке «Культура и этика»: «Любые реформы государственной или общественной жизни — не панацея и имеют лишь относительное значение. Они могут быть полезны, только если мы способны также вдохнуть в наше время новый дух. Даже те сложные проблемы, которые целиком относятся к материально-экономической сфере, в конечном счете могут быть решены только путем этизации убеждений... Подлинное чувство реальности заключается в осознании той непреложной истины, что мы лишь через основанные на разуме этические идеалы можем прийти к нормальным взаимоотношениям с действительностью»¹.

Для Швейцера прогресс материальный и прогресс культурный, нравственный — относительно независимые переменные, но образовавшийся разрыв между ними в сторону материальных благ стал одной из основных причин катастроф XX века. Как и другой выдающийся христианский мыслитель XX века — П. Тейяр де Шарден, Швейцер не только в текстах, но и во всей своей жизни исповедовал этику альтруизма. В более конкретном плане, но, в сущности, тот же взгляд на мир и роль человека, отражает так называемый первый парадокс, сформулированный крупным современным исследователем политической этики Д. Томпсоном: «Хотя этика порой кажется менее важной, чем все остальные вопросы, но, поскольку она косвенно влияет на все принимаемые решения, то в конечном счете именно она оказывается самой важной»².

¹ Швейцер А. Культура и этика. М. 1973. С. 66–67.

² Thompson D. Paradoxes of Government Ethics// Public Administration Review. Washington. 1992. Vol. 52. P. 52.

Дilemma, что для нас сейчас важнее — реформа институтов или акцент на человеческие качества, на людей — предмет наших permanentных дискуссий с друзьями и коллегами по «Либеральной миссии». Думается однако, что это — не вполне корректное противопоставление. Ни институциональный, ни культурный детерминизм, в отрыве один от другого, не полны и не адекватны.

Разумеется, реформа политических и государственных институтов критически важна. Каждый год отсрочки с ее проведением порождает все новые отрицательные эффекты. И выход из этого «порочного круга» будет стоить обществу, т.е. всем нам, все дороже и дороже. Да и до критической «красной линии», за которой нас ждут лишь разные катастрофические сценарии, на мой взгляд, не столь уж далеко. И все это отчасти — следствие как заложенного еще в Конституции 1993 г. несовершенства институтов, допускающих возможность властного авторитаризма, так и воплощения этой возможности в реальность, причем в худших формах, руками персон, оказавшихся в 2000-е годы у рычагов власти и всеми средствами продолжающих ее удерживать. Возможно, в аналитическом описании сложившейся системы автократической монополии власти целесообразно использовать олсоновскую конструкцию «станционарного бандита»¹. Но это выходит за рамки задач работы.

Однако реформа *институтов власти — условие необходимое, но недостаточное*. Институты решают не все. Они — не более чем инструменты. А действуют люди. И даже хорошие институты, оказавшись в распоряжении людей с разложившейся моралью, с деформированной шкалой моральных ценностей, либо бездействуют, либо действуют искаженно, избирательно, по «понятиям», обслуживая далекие от общественных нужд клановые, групповые и даже личные интересы и тем самым становятся контрпродуктивными. Простейший пример: без корпуса честных судей — совсем не героев, а просто честных перед собой и своей профессией людей — никакая институциональная реформа судебной системы не совладает с нашим «шемякиным правосудием». Да и не с ним одним. Мне неоднократно приходилось слышать от внешне вполне респектабельных юристов суждение о своей профессии, как о «второй древнейшей». А еще чаще — наблюдать это на деле².

¹ См., например, Олсон М. Власть и процветание. Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры. М., 2012.

² Вообще перечень профессий, многие представители которых явно или неявно усвоили сознание «второй древнейшей» и даже не стесняются об этом заявлять, угрожающе широк и имеет тенденцию к увеличению. Это — одна из причин, определивших преобладание негативной тональности в первой части книги.

Если же речь идет об анализе либо попытках улучшения политico-управленческой системы, то игнорирование ценностного аспекта, самоограничение исследователя технологическими (организационными, социально-инженерными) моментами, чревато весьма опасными последствиями. Ведь *технология, социальная инженерия могут служить как добру, так и злу*. Поэтому чисто технологические (не говоря уж о технократических) штудии и разработки, направленные на «повышение эффективности государства», вполне могут быть контрпродуктивными и даже негативными, а то и разрушительными по своим социальным последствиям, по влиянию на жизнь конкретных граждан и их объединений. К сожалению, не нужно далеко ходить за примерами «эффективных», но деструктивных действий наших государственных органов и служб. Каждый читатель легко их найдет. К тому же жизнь все время добавляет новые и новые примеры. Целеполагание находится за пределами технологий и методик совершенствования управления. А в сегодняшней реальности политические интересы, определяющие организационное поведение нашей управлеченческой системы, по моему мнению, ведут страну к катастрофе.

Думаю, технократические перекосы в сознании и характере разработок исследователей, занимающихся политической и особенно управлеченческой проблематикой, отчасти связаны с дефицитом *в их среде гуманитарного образования и, соответственно, «мировидения», с общим недостатком культуры*, причем не только политической. Это — одно из негативных последствий излишне прагматической, приземленной переориентации образования на «компетенции» в ущерб общим знаниям.

Впрочем, верно и то, что даже плохие институты до определенной степени можно использовать во благо. Это нелегко, но в этом и состоит парадокс так называемой сделки Фауста. Я целиком разделяю здесь позицию выдающегося американского ученого В. Острома: «Существование человеческих обществ можно уподобить сделке Фауста: люди должны научиться жить, используя орудия зла, чтобы делать добро»¹. А уже в середине XX века, в сущности, ту же мысль в обостренной форме повторил герой романа Р. П. Уоррена «Вся королевская рать», а потом и братья А. и Б. Стругацкие поставили ее эпиграфом к «Пикнику на обочине»: «Добро можно делать только из зла, потому что больше его просто не из чего делать».

¹ Остром В. Смысл американского федерализма. Что такое самоуправляющееся общество. М. 1993. С. 55.

И тут не обойтись без обращения к моральным факторам, к ценностям, влияющим на поведение людей и, в конечном счете, на ситуацию во всех областях публичной жизни. *Этика публичной сферы — один из ключевых элементов политической культуры.* Более того, представляется, что именно этическое регулирование **поведения в публичной сфере может стать эффективным инструментом позитивных изменений в политической культуре**, в чем наше общество отчаянно нуждается. Ведь аморальное общество будущего не имеет. А попытки воскрешения давно устаревших «скреп», наскоро сплелиемых из комбинации домостроя и патернализма, способны лишь усугубить ситуацию.

Ситуация распада моральных принципов, девальвации критериев репутации и даже простой честности зашла достаточно далеко. И она во многом насаждается «сверху». Происходит негативный отбор в так называемую «элиту» по перевернутым моральным критериям, по принципу «чем бессовестнее, тем надежней». И это «успешно» транслируется на более низкие властные и административные уровни, а также в контролируемые властями СМИ. Тенденцию подхватили и некоторые деятели культуры. В последние годы это порой приобретает и просто фашизoidные формы. Особенно ужасно по последствиям то, что система образования, как школьного, так и высшего, не составляет в этом исключения.

Видимая невооруженным глазом интеллектуальная деградация общественного сознания, падение способности людей к адекватной оценке общественно значимых событий, полагаю, тесно связаны с девальвацией морали. Уровень общественной морали оказывает немалое влияние и на качество культурного и социального человеческого капитала, с чем у нас, как известно, ситуация, мягко говоря, тоже далека от благополучной.

Помимо прочего, это важно еще и потому, что в последние годы наблюдается экспансия нормативно-правового регулирования в сферы и коллизии, которые должны подлежать регулированию не столько юридическому, сколько этико-правовому или даже чисто этическому. Корпус законов с запретительными установлениями по отношению к вопросам этического характера, к тому же подкрепляемыми довольно жестокими санкциями, велик и продолжает расти. Для примера достаточно вспомнить законы «об оскорблении чувств верующих», о запрете пропаганды гомосексуализма, так называемый «закон Димы Яковleva» (другое его неофициальное и, думаю, более точное наименование — «закон подлецов»), законодательство, фактически перечеркнувшее закрепленное статьей 31 Конституции РФ право граждан на мирные митинги и манифестации, изменения цензурного характера

в законодательстве о печати и интернете. А о законоприменительной практике и говорить нечего. Там царят юридически оформляемые избирательность и произвол.

Следует признать, что и сами власти не вполне чужды идеи расширения сферы этического регулирования, во всяком случае на вербальном уровне. Первые попытки регулировать этику поведения депутатов относятся еще к 90-м годам. Указ Президента «Общие принципы служебного поведения государственных служащих» вышел в августе 2002 года¹. Частично его положения перешли в последующие законы о государственной службе и другие нормативные документы. И в последние годы работа в этом направлении формально продолжается, о чем будет рассказано в соответствующем месте книги. Однако, в отличие от западных аналогов, наши акты в данной области носят настолько общий характер, что воспринимаются как риторика, имеющая мало отношения к реальной жизни, и потому не выполняют превентивной, предупредительной функции по отношению к должностным злоупотреблениям, в чем и состоит главное назначение этических документов в сфере управления. К тому же практика поведения многих должностных лиц дает обратные примеры — демонстративное пренебрежение нормами морали. И поскольку такого рода факты чаще всего остаются безнаказанными, это показывает реальную цену исходящих сверху этических «заклинаний», даже если они оформлены в виде документов.

Поиски и попытки формирования моральных «скреп» (если прибегнуть к этому опошленному клише в его изначальном смысле) для современного общества — проблема мировая. Ее пытаются разрешить самые разные страны. У одних это выходит относительно удачно, у других — мало удачно. Где-то ей и вовсе пренебрегают. Но представляется очевидным, что она — один из принципиально важных элементов современного кризиса, через который проходит мир. Разумеется, книга не претендует на освещение всех связанных с этим вопросов. Моя задача более ограничена — рассмотреть достаточно широкий спектр вопросов, связанных с этикой именно в публичной сфере и последствиями пренебрежения ею. В последнем отношении мне придется, в основном, идти, как говорится, от обратного, поскольку ситуация в данном плане, по моему мнению, близка к катастрофической.

Мне кажется, что апелляция к этическим аспектам публичной жизни, к восстановлению моральных ценностей — тот «спасательный круг», который необходимо бросить нашему обществу, во

¹ См. base.garant.ru/184842/

многом утратившему моральные ориентиры, то, что в былые времена называлось «кодексом чести» порядочного человека. Разумеется, это не исключает ни институциональных реформ, ни политической модернизации. Это — три взаимно поддерживающих, дополняющих одно другое, лекарства для нашего серьезно больного общества. Книга посвящена одному из них.

Естественно, она родилась не на пустом месте и написана отнюдь не с чистого листа. В основе некоторых глав первой части лежат мои журнальные публикации последнего периода, существенно дополненные и модернизированные в процессе работы над книгой. А во второй части использованы авторские конспекты лекций и семинаров, которые я веду в течение ряда лет на факультете государственного и муниципального управления (ныне — часть факультета социальных наук) Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики», профессором которого я являюсь. Раздел, посвященный вопросам этики политической журналистики, написан профессиональным журналистом, бывшим главным редактором русской версии журнала «Esquire» Дмитрием Голубовским.

В книге через этическую «призму» последовательно рассматривается довольно широкий спектр проблем, предломляемых через разные аспекты и сферы публичной жизни. Но при этом все ее разделы объединяют несколько сквозных идей. На ее концепцию и содержание повлияло немало факторов и событий нашей реальности, а также общение с рядом людей, в частности, в рамках семинаров и круглых столов «Либеральной миссии».

По этическим соображениям мне не хотелось бы персонально выделять кого-либо из членов этого замечательного интеллектуального сообщества, ставшего творческим стимулятором и источником моральной поддержки для очень многих людей. Но два имени все же не могу не назвать. Это президент «Либеральной миссии» Евгений Григорьевич Ясин и один из ее основателей и активнейших участников Дмитрий Борисович Зимин.

Улучшить книгу помогли замечания ее первых критических читателей — рецензентов — Льва Дмитриевича Гудкова, Михаила Александровича Краснова, Андрея Вячеславовича Прокофьева, а также самоотверженная работа ее редактора Натальи Михайловны Плискевич.

И, конечно, особую признательность хочу выразить моей жене Оле, прочитавшей рукопись и сделавшей ряд существенных замечаний. Да и в целом ее гражданская позиция и активность, причем не только слова, но и поступки, косвенным образом немало повлияли на содержание книги.

ЧАСТЬ I

ЭТИКА ПУБЛИЧНОЙ СФЕРЫ: МОРАЛЬНОЕ И АМОРАЛЬНОЕ

Жалеть об нем не должно:
Он стоил лютых бед несчастья своего,
Терпя, чего терпеть без подлости не можно!
Николай Карамзин

В этой части работы будут рассмотрены представляющиеся мне наиболее существенными причины и проявления серьезного падения уровня общественной морали. Симптомы данного феномена в современной России можно наблюдать «невооруженным глазом». Мы обсудим негативные последствия этого для публичной жизни, а также некоторые типы общественной реакции на ситуацию. А начну я с экскурса в нашу «печальную и многотерпеливую» (выражение А. И. Герцена) историю XX века, поскольку именно оттуда произрастают многие формы и черты постигшего сегодня нашу страну тяжелого кризиса морального сознания. Мы — не рабы своего прошлого. И, творя свое настоящее и завтрашний день, мы не должны постоянно оглядываться назад в поисках оправданий или моделей решений. Но при этом мы обязаны ясно сознавать, какие именно колеи проложены нашими предками, где и почему они падали и спотыкались, откуда и как нам предстоит выбираться.

М. Волошин почти век назад написал: «В мире нет истории страшней, безумней, чем история России». Думается, это все же некое художническое преувеличение. Среди историй других народов мира есть, может быть, и не менее страшные, чем наша. Но этим ли стоит мериться? А XX век, как ни посмотри, добавил в нашу историю множество новых страшных страниц. Большинство из них имело политическое или социально-экономическое обличье. Но внутренние их корни прямо или косвенно связаны с моральными, с ценностными факторами.

ГЛАВА 1

Советский режим — апогей аморальных механизмов властовования

Политика — расклейка этикеток,
Назначенных, чтоб утаить состав.
Но выверты мышления все те же.

Максимилиан Волошин

Знаменитый историк Французской революции Ф. Олар, оказался на склоне лет свидетелем революции русской, считал, что современник в принципе не может адекватно постичь смысл происходящих на его глазах исторических событий. В самом деле, скороспелые попытки объяснений по горячим следам редко бывают глубокими и точными даже в событийном плане. «Эффект участника» — отнюдь не гарантия достоверности, а «непосредственное наблюдение — почти всегда иллюзия... все увиденное состоит на добрую половину из увиденного другими»¹. А А. Токвиль, исследовавший Французскую революцию шесть десятилетий спустя после ее начала, писал: «Мы теперь находимся на той именно точке, с которой можно наилучшим образом видеть... и судить. Мы достаточно удалены от Революции, чтобы лишь в слабой степени ощущать те страсти, которые волновали жизнь людей, участвовавших в ней, но мы еще настолько близки к ней, что можем представить себе и понять породивший ее дух. Скоро уже будет трудно сделать это»².

Думаю, отечественному читателю излишне доказывать, что для России проблема сущности и механизмов строя, существовавшего на нашей земле три четверти века, носит отнюдь не только (и даже прежде всего не столько) академический характер. Отчасти поэтому я вернулся к своим текстам 90-х и «нулевых» лет, чтобы переосмыслить их сюжеты в свете нового знания и новых реалий. Я оценивал тогда (и продолжаю считать это правильным сейчас) «ленинский» и «сталинский» периоды как две стадии единого процесса с общими глубинными социально-этическими и социально-психологическими основаниями и лишь с частично различными конкретными механизмами властовования. Поэтому их следует рассматривать последовательно и в хронологическом порядке, что мы и намерены сде-

¹ Блок М. Апология истории, или Ремесло историка. М. 1973. С. 31.

² Токвиль А. Старый порядок и революция. Петроград. 1918. С. 14.

лать, правда, с существенно различной степенью подробности. В данном случае я решил сделать главный акцент на сталинизм из-за особой остроты и болезненности связанных с ним сдвигов в общественном сознании, а все, касающееся «ленинского» периода, излагается максимально кратко, конспективно. Подробный анализ этих и других исторических сюжетов содержится в моих работах по философии русской истории¹.

При этом чисто политические аспекты советского режима будут затрагиваться лишь в той степени, в какой они связаны с собственно темой книги. А в видении концептуальной политэкономической основы власти, именовавшейся коммунистической, я в рамках данной работы близок к парадигме М. Олсона².

Ленинский этап «социальной вивисекции»

Первым из факторов социально-этического порядка, подтолкнувших тогда развитие событий в роковом направлении, была аномия, т.е. моральный кризис народного сознания. Подобный нравственный вакуум возникает, когда одна система норм по тем или иным причинам перестает выполнять роль регулятора реального поведения людей, а новая не успевает прийти ей на смену. Параллельно развивается агрессивный моральный релятивизм, ведущая посылка которого — «революционная целесообразность превыше всего», включая и нормы человеческой морали. Принцип этот отнюдь не изобретение России или той эпохи. Вспомним хотя бы такие описания психологии французского якобинца: «Против изменников все дозволено и похвально. Якобинец, канонизировав свои убийства, убивает из “любви к ближнему”»; или «все позволено тем, кто действует в духе революции, для республиканца нет опасности, кроме опасности плестись в хвосте законов республики».

¹ Подробный анализ обоих периодов см. в моих монографиях: *Оболонский А. В. Драма Российской политической истории: система против личности*. М. 1994; его же: *Человек и власть: перекрестки Российской истории*. М. 2002. Гл. 8. В последующем мой концептуальный взгляд на историю как на процесс выбора альтернатив будущего на ее ключевых «перекрестках» получил более серьезное источниковедчески фундированное развитие в книге историков профессиональных: *Карацуба И. В., Курукин И. В., Соколов Н. П. Выбирая свою историю. «Развилки» на пути России: от рюриковичей до олигархов*.// М.2006. К сожалению, авторы не сочли нужным хотя бы упомянуть о моих работах. Тоже ведь вопрос этики.

² См., например, *Олсон М. Власть и процветание. Перерастая коммунистические и капиталистические диктатуры*. М. 2012. *Olson M. The Logic of Collective Action and the Theory of Groups*. 1965.

В России же особая легкость перескока от идеи всеобщего благоденствия к возведенной в принцип аморальности обеспечивалась крайней неразвитостью индивидуалистических начал в национальном «генотипе», господством псевдоколлективистской этики, которую Н. А. Бердяев называл «безответственным коллективизмом»; он видел ее корень «в отрицании личной нравственной ответственности и личной нравственной дисциплины, в слабом развитии чувства долга и чувства чести, в отсутствии сознания нравственной ценности подбора личных качеств. Русский человек не чувствует себя в достаточной степени нравственно вменяемым, и он мало почитает качества в личности. Личность чувствует себя погруженной в коллектив», отчего у человека «затемнено и сознание прав, и сознание обязанностей, он утопает в безответственном коллективизме»¹.

Итоговой характеристикой революционных событий в России при проекции их на шкалу социальной этики стала победа старого этического типа — системоцентризма, но в новой, более динамичной форме. Он «омолодился», заменив консервативные одежды, вывески и знамена на радикальные, но сущность осталась прежней — антиличностной. Изменилась политическая система (политический режим — меньше), но не общественная этика.

Теперь о социально-психологических детерминантах событий. Сначала об их «горячей» стадии. Во-первых, в предреволюционные годы резко активизировалась, а к 1917-му году достигла апогея извечная деструктивная традиция межгруппового антагонизма, оппозиция «мы» и «они» в ее классовой редакции. Во-вторых, в результате войны в массах значительно возрос синдром революционного социального невротизма с сопутствующими ему массовыми проявлениями жестокости, насилия, иррациональности, социальной безответственности. З. Фрейд считал, что в определенные периоды даже целые цивилизационные сообщества впадают в патологические невротические состояния, а Э. Фромм на примере фашистских режимов описал близкие к ним садомазохистский комплекс и синдром социальной некрофилии. В-третьих, как всегда бывает в периоды кризисов, на авансцену выдвинулись особые, иные, чем прежде, типы людей. На уровне лидеров любого уровня это означало торжество типа якобинца — фанатично-го доктринира, лишенного каких-либо моральных запретов и при этом обладающего искусством «оседлать толпу» через активизацию в ней разрушительных инстинктов; на уровне же массы это означало торжество бунтарских начал, разгул низменных страстей и инстинктов. Наконец, не последнюю роль сыграла доходившая почти до неправдоподобия слабость либеральных политиков.

¹ Бердяев Н. А. Духи русской революции// Из глубины. Париж. 1967. С. 96.

На следующем этапе, когда стихия кризиса и массовое возбуждение стали выдыкаться, заработали другие закономерности, к числу которых относятся российская авторитарная традиция и психологическая усталость людей. Не углубляясь в данном случае в их детальное описание, обратимся к конкретным политическим механизмам, посредством которых радикалы, в первую очередь — большевики, сначала возбудили стихию народного мятежа, затем «оседлали» ее, направив в нужное им русло и поставив на службу собственным политическим целям, а потом и надели на него тоталитарную «уздечку».

- 1. Демагогическая спекуляция на реальных проблемах.** Поскольку назревшие проблемы режимом десятилетиями не решались, а в ряде случаев и попросту игнорировались, то любая его критика, независимо от ее основательности и справедливости, стала безотказным и весьма действенным инструментом.
- 2. Использование новых символов веры.** Место наглоухо связавшего себя с царизмом и вместе с ним дискредитировавшего себя православия заняла новая религия — марксизм в его большевистской версии.
- 3. Возведенный в принцип аморализм.** Каких-либо моральных запретов, нравственных табу для большевиков не существовало, а нравственным объявлялось все, что способствует делу революции.
- 4. Направливание «революционного народа», т.е. толпы, на «социально чуждые элементы» — дворян, буржуев и землевладельцев, а также «ахфицеров» и «интеллигентиков».** Массовое насилие по весьма расширительно толкуемому классовому признаку стало одним из программных принципов власти. Один из ведущих «стимулов» — прямое подстрекательство к захвату чужой собственности, поскольку уважение к ней было крайне слабо развито в народной массе. Торжество политики под лозунгом «грабь награбленное», помимо прочего, подрывало в народе начала трудовой этики, разрушало стимулы к приобретению достатка на трудовой основе.
- 5. Монополизация трибуны для публичных высказываний** — жестокая цензура, конфискация типографий, массовое закрытие газет и журналов, аресты, отдание под трибунал, высылки редакторов и сотрудников органов печати.
- 6. «Двухслойность» идеологии,** т.е. имманентно присущее и доктрине, и практике большевизма сосуществование в них двух принципиально различных по содержанию слоев, один из которых предназначен для внешнего, а другой — для внутреннего употребления, один — для «народа», другой — для «своих».
- 7. Опора на деклассированные, маргинальные слои,** к числу которых относились уголовные элементы, разложившаяся солдат-

ская масса (вспомним знаменитый образ «человека с ружьем»), другие люмпенизированные группы, на типы, которые Бердяев вслед за Достоевским назвал «Федькой-каторжником».

8. Террор как принцип организации власти. Об этой особенности режима, по счастью, сказано и написано больше, хотя и явно недостаточно. Многочисленные материалы свидетельствуют не только о разгуле вандализма толпы, но и о том, что власть большевиков с самого начала сознательно осуществляла геноцид собственного народа.

9. Опора на привилегированные «спец» военизированные подразделения. В числе этих «янычар» режима были отряды ЧОН, кремлевские курсанты, «этнические» подразделения — латышские стрелки, китайские батальоны... Впрочем, очень быстро эта пестрота сменилась подразделениями чекистов; от всех прочих эти «янычары социализма» отличались одним — большей степенью управляемости сверху.

10. Последующее укрощение народной стихии и манипулирование ею посредством механизмов централизованного бюрократического правления и массовой политической партии, построенной на полувоенных началах.

Одним из первых рассыпался в послереволюционной России миф равенства. Очень быстро возникли новые привилегированные группы, так сказать, новая «элита». Причем критерии для попадания в нее радикально отличались от худо-бедно выработанных цивилизацией интеллектуальных стандартов и нравственных принципов, от идеалов социальной справедливости. Наступило торжество охлократии.

В сфере создания новой государственной идеологии в прежней, триаде «православие, самодержавие, народность», в сущности, пришлось заменить лишь одно звено. Место православия заняла новая «религия». Несмотря на то, что внешне православие казалось вошедшим в плоть и кровь основной массы населения бывшей Российской империи, на деле оказалось иначе. Когда власть круто поменяла православные символы и ритуалы на атеистические, это не вызвало национальной драмы тех масштабов, которые случались у других народов при попытках их насильтвенной религиозной переориентации. Конечно, некоторая часть людей проявила определенное упорство, а в ряде случаев и героизм в защите святынь национальной веры и своего права ее исповедовать. Но другая, численно большая, часть обнаружила готовность и даже удовольствие всячески попирать лишившиеся государственної защиты святыни, кощунствовать, уничтожать их. Большинство же отнеслось к гонениям на церковь довольно индиффе-

рентно. За долгие века своей истории официальное православие не выработало способности отстаивать религиозные убеждения в условиях гонений изнутри, в отличие от присущего россиянам умения постоять за веру в собственном ее понимании перед лицом внешних врагов и иноверцев. Ориентация на симбиоз с властью, а реально — на послушание ей оказалась сильнее собственно религиозных традиций и чувств. Православный стереотип оказался не базовой структурой национального сознания, а лишь вторичным, довольно легко устранимым его элементом.

Другой роковой по своим последствиям трагедией тех лет стала судьба российской интеллигенции. Известна идущая от «веховцев», а еще раньше — от образа Ивана Карамазова — самобичующая точка зрения, согласно которой интеллигенция сама и есть главный виновник всех постигших страну несчастий. Лично я считаю, что если такие обвинения и уместны, то по отношению не ко всей интеллигенции, а лишь к ее радикалистскому крылу. Да, романтика «прямого действия», т.е. бескомпромиссной борьбы с правительством, долгое время была распространенным идеалом русского интеллигента, особенно в молодые годы. Но уже с 80—90-х гг. XIX века пошел процесс частичного дистанцирования интеллигенции от политики, ее уход либо в «культурные скиты», либо в сторону народнической идеологии незаметного служения. Оставшихся же в политике либералов, если и можно в чем-то упрекнуть, то лишь в недооценке масштабов опасности или, во всяком случае, в недостаточно активном ей противодействии. Но огульно судить всю интеллигенцию или отождествлять ее идеологию с социалистической, неверно как фактологически, так и идеологически. Да, исторический факт состоит в том, что долговременная, целенаправленная, самоотверженная деятельность одной из двух политически ангажированных частей русской интеллигенции стала одним из краеугольных камней катастрофы 1917 года. Но при этом пламя катастрофы не обошло стороной и саму интеллигенцию, причинив ей неисчислимые беды.

Большевистская власть по самому своему духу была антагонистична и этическому кодексу интеллигента, и социальной роли интеллигенции как общественного слоя. Поэтому конфликт между властью и основной массой интеллигенции был имманентно присущ их отношениям. И хотя в разные моменты и по отношению к разным персонам и группам возникали различные вариации, но все они были вторичны. В целом интеллигентам была жестко предписана роль ученых приказчиков власти, которым до конца не доверяют, но по необходимости терпят. Никаких других ролей за ними не признавалось. Не случайно репрессии как начались про-

тив нее с ноября 1917-го, так и в разных формах не прекращались почти до конца режима. Интеллигенция в традиционном российском значении этого слова под большевистским режимом погибла. У остатков же ее (в подлинном и единственно адекватном на мой взгляд смысле) хватило сил и возможностей лишь на две задачи: в сфере социальной рефлексии — на то, чтобы сберечь немногочисленные слабо мерцавшие огоньки культуры, пронести их сквозь стужу и мрак наступившей ночи и передать их следующим, более удачливым поколениям; в сфере социального действия — лишь на тот минимум, который спасает общество от необратимого нравственного одичания и умственного вырождения. И эти две скромные, но такие важные задачи как будто удалось выполнить, хотя потери были понесены чудовищные, невосполнимые.

Произошел если не полный обрыв преемственности поколений, то во всяком случае ее значительное ослабление. Преследуемая, гонимая, подавляемая физически и морально, интеллигенция стихийно, а иногда и сознательно перестала биологически воспроизводить себя в своих потомках. В результате накопленный по поколениями духовный и нравственный капитал зарывался в кладбищенскую землю вместе с его последними носителями. А для интеллигенции преемственность духа важна чрезвычайно. Известно, что в большинстве своем интеллигенты первого и даже второго поколения, вполне органично впитав целый ряд важных компонентов интеллигентского сознания, часто не слишком усваивают такие его существеннейшие черты, как установка на бескорыстное служение общественному благу, критическая неудовлетворенность *status quo* в разных областях, готовность «пострадать за правду» во имя общих интересов.

Разумеется, не следует понимать это в каком-либо «кастовом» смысле. Перечисленными чертами обладают далеко не все и из потомственных интеллигентов. Иными словами, принадлежность к интеллигенции не передается по наследству автоматически. Ее трудно приобрести за одно поколение, но легко потерять за то же или даже за меньшее время. Но и отвлекаясь от проблемы преемственности, очевидно, что при переходе от русской интеллигенции к советской произошел заметный регресс ее в нравственном отношении. Но всего тяжелее от сознания, что этот регресс был лишь одним из компонентов всеобщего нравственного регресса, произошедшего в стране после революции. Равно как и поражение интеллигенции в конфликте с режимом было трагедией не только для нее самой, но и для всей нации. Но это стало очевидно уже на следующем этапе — сталинщины.

Сталинщина: морально-психологические механизмы

Как уже было сказано, «зрелая» стадия большевистского режима, с моей точки зрения, не имеет принципиальных отличий от стадии предыдущей. Она стала лишь временем жатвы плодов урожая, не только посеянного, но уже взошедшего и даже заколосившегося на стадии предыдущей. Можно сказать, что это была «полная фаза» всей той же большевистской «луны». Конечно, период пребывания нашего народа на самом дне исторической пропасти требует серьезнейшего осмысления как в плане познавательном и даже чисто практическом, так и в плане моральном, что и произошло в странах фашистской коалиции после их поражения в войне. Это большая и, как видно из нынешнего барометра общественных настроений, далеко не решенная проблема. В рамках же данного текста я поставил значительно более скромную задачу — обозначить механизмы власти и заданные властью рамки существования для основных социальных групп населения страны. При этом в начале каждого подраздела мне придется вновь «возвращаться» к ленинским временам, что лишний раз подтверждает принципиальное единство, преемственность этих двух исторических периодов.

Новая «элита»¹: люмпены-выдвиженцы

Она стала складываться на удивление быстро, особенно если учесть, что антиэлитарные риторика и акции занимали едва ли не самое заметное место на авансцене событий и в момент октября-ского переворота, и еще долгое время после него. Между тем уже в 1918 г. симптомы групповой самоорганизации и особого стиля поведения стремительно захватывавших верхний ярус социальной пирамиды «новых хозяев страны» стали настолько заметны, что возник даже специальный термин — «комчванство». А всего три-четыре года спустя терявший над ситуацией контроль Ленин успел увидеть, как вознесенная им на социальный гребень прослойка людей с невероятной скоростью перерождается в некое подобие мафии, члены которой озабочены только собственным благополучием и карьерой. Последние письма и статьи Ленина представляются обреченной попыткой остановить кристаллизацию новой —

¹ Кавычки означают, что у меня просто «язык не поворачивается» всерьез использовать это все же имеющее положительную смысловую нагрузку слово применительно к прослойке людей, ныне монополизировавших у нас политico-управленческую деятельность. И рука сама ставит кавычки.

люмпенской элиты. Судьба жестоко отомстила ему. К середине 20-х годов возникновение «нового класса» фактических хозяев — распорядителей страной стало свершившимся фактом.

Правда, на первом этапе в его составе были не только беспринципные карьеристы, но и подвижники (фанатики) идеи. Однако даже тогда это было хоть и яркое, но все же явное меньшинство, за исключением, может быть, самого высшего слоя. К тому же на практике революция делалась главным образом отнюдь не руками жертвенно настроенных интеллигентов: ее моторную силу составляли люди принципиально иного психологического типа — совсем не ориентировавшиеся на какие-то там абстрактные идеалы, а напротив, стремившиеся урвать от жизни максимум доступного и увидевшие в революции широчайшие возможности для этого. По мере же укрепления режима и численного увеличения правящей группы удельный вес «идеалистов» в составе новой элиты и вовсе упал. Ведущие позиции захватывали различного рода приспособленцы-карьеристы. А в 30-е годы идейные борцы-большевики с дореволюционным стажем, как известно, подверглись жестоким массовым репрессиям и с политического горизонта в общем исчезли. Создатели политической гильотины сами в конечном счете стали ее жертвами.

Этической основой такого развития событий стало торжество *принципа морального релятивизма*, вызвавшее значительную эрозию всех видов нормативного регулирования взаимного поведения людей. В российском обществе на протяжении ряда предреволюционных десятилетий накапливался разрушительный потенциал нравственной аномии, т.е. безнормативности. Обычно присущий лишь люмпенизированным слоям, он постепенно, с размыванием традиционалистской морали, распространялся и на другие общественные группы, а в результате проделанного обществом в момент революции социального кульбита стал задавать господствующий тон. А при таких правилах «игры» идеалисты, даже фанатики, естественно, уступили первые роли личностям с практическими-преступными ориентациями.

Мораль новой элиты была довольно проста и функциональна, что обеспечило ее устойчивость и живучесть. Во-первых, для нее характерно практически полное *отсутствие каких-либо нравственных табу*, т.е. внутренних самозапретов. Следствием этой вседозволяющей этики стала введенная в норму и широко вошедшая в практику безжалостность, придавшая столь трагический облик нашей послереволюционной истории.

Второй ключевой элемент кодекса новой элиты — *нерассуждающее повиновение сильному*, т.е. обладающему в данный момент реальной властью. Власть же, как известно, все больше сосредото-

чивалась в руках двух политических сил — партийного аппарата и политической полиции (ГПУ—НКВД—МГБ). Простота принципа усиливалась его универсальностью: он действовал на всех этажах власти. Поэтому взбирающийся по советской карьерной лестнице человек уже на дальних подступах к ее верхним ступенькам вполне усваивал правила поведения и расстановку сил и без особых трудностей осваивался на более высоких иерархических этажах.

Наконец, третий элемент морали этого слоя — расчетливое использование *идеологических клише и политической демагогии* в качестве оружия в борьбе за жизненные блага. В нашей новейшей истории идеологические догмы сами по себе не играли самодовлеющей роли. Лишь в той степени, в какой они оставались выгодными и нужными, их объявляли священными, требующими якобы во имя их чистоты пролития рек крови. Однако, как только они почему-либо начинали мешать достижению конкретных политических целей, их с легкостью отодвигали в сторону, причем для объяснения подобных метаморфоз обычно считалась достаточной самая поверхностная идеологическая полировка.

Из определяющих социально-психологических параметров новой элиты следует прежде всего назвать упрощенное, *одномерное восприятие мира*, неприятие его антиномичности, возможности существования «разных правд». Во-вторых, *отсутствие потребности в рефлексивном самоанализе*, в «самокопании», всегда столь свойственном интеллигентам. Это были люди действия, постоянно настроенные на борьбу, причем любыми средствами. В-третьих, в тот же ряд первичных социально-психологических особенностей нашей элиты, видимо, следует поставить введенную Э. Фроммом при анализе психологических основ нацистского режима категорию *некрофильского психологического типа* как преобладавшего. Этот тип вообще всплывает в эпохи социальных катаклизмов. Применительно же к рассматриваемому периоду напомню об обилии в составе «команды сталинских соколов» людей палаческого склада.

Те, кто пробивался в ряды новой политической элиты, были не деятелями, но дельцами, которые играли в страшную игру с высочайшими ставками и по правилам, обычно более свойственным низу социальной пирамиды — преступному миру, нежели ее верхнему ярусу. И непонимание этого обстоятельства много раз подводило как внутренних, так и внешних партнеров и оппонентов режима. Последнее весьма наглядно видно на примере головокружительных успехов советской внешней политики в 30—40-е годы. За весь тот предельно насыщенный событиями и геополитическими успехами период можно назвать лишь одну серьезную дипло-

матическую неудачу — в игре с Гитлером. И в высшей степени показательно, кому именно проиграла сталинская команда — отнюдь не демократическим политикам (их-то она обставляла довольно легко), а аналогичной мафии, тоже не связывавшей себя какими-либо традиционными «предрассудками».

В этой группе в сталинские времена составляли большинство и задавали тон люди малокультурные и примитивные по общечеловеческим стандартам. Но с точки зрения достижения избранных целей они были весьма хитроумными и изворотливыми. Те же из них, кто более или менее отвечал общепринятым критериям образованности и культуры, либо на удивление быстро ушли в мир иной (Г. Чicherin, Л. Красин, А. Луначарский), либо были оттеснены на периферию или уничтожены (М. Литвинов), либо (самый зловещий вариант) стали «преступниками-интеллектуалами», т.е. целиком подчинили свои знания и способности преступным целям правящей группировки или целям личным своекорыстным (ярчайший пример такой позиции — Вышинский). Причем это относится как к тем эвклидистам, кто всегда умудрялся встроиться в менявшуюся, но «единственно верную генеральную линию», так и к членам многочисленных оппозиций, в основном, как известно, искусственно слепленных их противниками с истребительными целями.

Еще одна особенность сталинской элиты. В отличие от элит, характерных для «нормальных» политических режимов, она не имела стабильного состава. В нее можно было молниеносно взлететь на гребне политических интриг, момента и удачи, и так же с треском вылететь, при этом оказавшись даже не в прежнем положении холопа без привилегий, но и значительно ниже — в преисподней страны ГУЛАГ. А поскольку одним из элементов понятия элиты является ее стабильность, то даже отвлекаясь от качественных характеристик, и по этому формальному критерию ее можно назвать не более, чем псевдоэлитой.

Правда, после смерти тирана положение постепенно изменилось: не только прекратились регулярно практиковавшиеся им избиения руководящих кадров, но напротив, верхняяластная страна создала для себя статус неприкосновенности, неподзаконности, состав ее более или менее стабилизировался, иерархия «постоянных» привилегий стала более четкой, а дети ее членов обрели ранг и самомнение «отпрысков благородных семейств». Разумеется, качество ее от этого не улучшилось, разве что она обрела некоторую внешнюю респектабельность.

Режим мастерски активизировал и использовал низменные человеческие качества, точно нашел свою социальную базу, знал

не только, на каких струнах играть, но и к кому апеллировать. Его ударной силой стали выдвиженцы — люди, обязанные режиму всем и потому на все ради него готовые, а вернее сказать, ради сохранения и повышения своего положения в системе. Возможности же для возвышения режим отрывал головокружительные. Так что игра стоила свеч. Эмпирический анализ карьер «сталинских соколов» (эта пропагандная этикетка для выдвиженцев сталинской эры в превращенном виде отражает реальности тогдашней номенклатуры) может дать картину массового «социального десанта» на высшие общественные этажи людей, которые при любом ином режиме рассчитывать на что-либо подобное никоим образом бы не могли. Фраза Интернационала «кто был ничем, тот станет всем» реализовалась чудовищным образом. Особенно были характерны в этом плане периоды массовых «чисток» и репрессий, когда в кратчайшие сроки во всех эшелонах власти «освобождалась» масса вакансий.

Конечно, было бы фактологически неверно и несправедливо отвергать саму возможность сделать в те годы карьеру честными средствами, и мы знаем немалое число таких честных карьер. Однако не эти люди были «козырными картами» режима. Не на них он делал ставку. Не они получали преимущество в игре по заданным властью правилам. Режим наибольшего благоприятствования в целом действовал отнюдь не в интересах выдвижения наиболее способных и достойных. Атмосфера эпохи способствовала процветанию людей иного сорта.

Парадоксальный факт. В стране, где демагогическая пропаганда непрерывно муссировала миф о «государстве рабочих и крестьян» и где, казалось бы, действительно возникли очень благоприятные условия для вертикальной социальной мобильности, власть на деле оказалась отнюдь не в руках реальных представителей «господствующих классов». Да, захватившие бразды правления на всех этажах общества по большей части происходили из былых низов, но происхождение далеко не всегда определяет тип сознания. И выдвиженцы, как правило, были носителями лишь внешних атрибутов своего рабоче-крестьянского происхождения, к числу которых относятся культурная неотесанность, демагогическая спекуляция на своем происхождении, нарочито хамский стиль поведения и лексикон — грубость и матерная брань. Не случайна также значительность роли, которую сыграл в революционном и послереволюционном большевизме «бллатной фактор».

Но более глубокие слои классового сознания, в том числе такие его положительные черты, как, скажем, солидарность с «братьями по классу», добросовестность в собственном труде и уваже-

ние к труду чужому и даже элементарная практическая смекалка, у этих пробившихся в новую элиту и превратившихся в чиновников всех разновидностей «представителей трудового народа» можно обнаружить лишь с большим трудом. Ведь для выдвижения требовались совсем иные качества. Естественный (или, вернее сказать, противоестественный) отбор шел по совсем другим параметрам. И поэтому господствующим типом выдвиженца был люмпен, человек с деклассированным сознанием, для которого одни нормы утратили силу нормы, а никаких новых не усвоено. При этом критерий социального происхождения здесь во многом теряет реальный смысл, ибо, в сущности, безразлично, из какого социального слоя вышел люмпен, является ли он люмпен-пролетарием, люмпен-крестьянином, люмпен-предпринимателем или люмпен-интеллигентом. Люмпен есть люмпен — человек без корней, без нравственного кодекса. Именно этот исчислявшийся несколькими миллионами человек и передававший эстафету своей этики новым поколениям слой и составлял основную социальную опору сталинского и послесталинского режима.

Посмотрим теперь на положение других общественных слоев.

Финал интеллигентской трагедии: трава под асфальтом

Первые узлы трагической судьбы, выпавшей на долю русской интеллигенции, завязались еще на рубеже 60-х годов позапрошлого столетия, а кульминация трагедии пришла на конец второго десятилетия XX века. Но эти сюжеты выходят за рамки нашей сегодняшней темы. Речь пойдет о заключительном акте трагедии, ибо произшедшее с российской интеллигенцией в сталинскую эру было, по сути, лишь неизбежным следствием предшествовавшего развития событий.

Сначала о наиболее благополучной ее части. Как известно, на первых порах существования режима незначительная, но все же заметная часть интеллигенции вошла в состав власти. Главным образом это были, конечно, радикалы и их идеиные наследники, хотя встречались и исключения. Однако тенденции развития «революционного процесса» работали против этой группы. Кое-кто прозрел и сам выходил из игры, других оттирали набиравшие силу выдвиженцы. И все же ничтожная и неуклонно сокращавшаяся часть интеллигентов еще долгое время кое-как удерживалась на периферии властвующей элиты, либо на подступах к ней. Причем по мере того, как истинный облик режима становился все более отчетливым, идеиных его сторонников среди них, естественно, оставалось все меньше.

Но, независимо от мотивов, всем интеллигентам, удерживавшимся на околоэлитной орбите, приходилось за это платить. И во имя сохранения возможностей продолжения профессиональной деятельности, и ради сохранения иллюзии активного участия в общественной жизни, и чтобы обеспечить себе доступ к мирским благам, распределение которых жестко контролировалось новыми хозяевами страны. За все это приходилось поступаться очень многим. В жертву были принесены важнейшие атрибуты сознания и морали: роль носителя общественной совести и выразителя общей боли, сострадание народной судьбе, чувство гражданской ответственности, т.е. своей моральной сопричастности происходящему в стране и в мире, «органическая неспособность подпевать могучему хору сильных мира сего» (выражение В. Шукшина), невозможность поступиться правдой ради житейских выгод, наконец, естественная, как дыхание, критическая рефлексия по широчайшему кругу вопросов. От всего этого номенклатурная (т.е. узкоэлитная и околоэлитная) интеллигенция по существу отказалась. Достаточно вспомнить хотя бы биографию «красного графа» Толстого.

В России, где бескорыстное выполнение функций критического разума и совести общества всегда считалось главным назначением интеллигенции, ее «крестом» (не будем сейчас входить в полемику с авторами «Вех» и другими о последствиях такой установки), этот отказ выглядел самоотречением. Справедливости ради следует сказать, что другие свои важные черты номенклатурная интеллигенция сохранила и в той мере, в какой ее не ограничивали политические обстоятельства и инстинкт самосохранения, использовала их на благо общества. Я имею в виду культуру мышления, профессионализм, навыки продуктивной умственной работы, изобретательность в решении неординарных задач, разносторонность и даже известную терпимость к другим взглядам и мнениям. Однако представляется, что перечисленные черты, при всей их важности и привлекательности, все-таки не являются стержневыми качествами интеллигента. Впрочем, даже в таком осколленном виде эта полностью ангажированная интеллигенция не смогла удержаться в элитной обойме и вытеснялась из нее, поскольку воинствующе-люмпенский дух времени резко противоречил любым атрибутам интеллигентского образа.

В сталинские времена интеллигентов терпели лишь там и постольку, где и поскольку без них было невозможно обойтись. Но какие удары судьбы ни настигали бы номенклатурных интеллигентов, с какой-то высшей точки зрения они не были абсолютно несправедливыми: их били и третировали по правилам той игры,

в которую они сами вступили и в которой стремились к выигрышу. А, главное, их тяготы и проблемы были несравнимы с тяготами и проблемами основной массы интеллигенции, судьба которой в условиях сталинской диктатуры была по-настоящему трагичной. Ведь подавляющая часть интеллигентов не только находилась вне номенклатурно-элитных сфер, но и жила в очень тяжелых условиях — как материальных, так и духовных. И репрессии по отношению к ней практически не прекращались.

В общем же социально-культурном плане главная трагедия состояла в том, что были полностью перечеркнуты фундаментальные основы интеллигентского существования — возможность свободного обмена мыслями и относительная материальная независимость. Еще древнеримский поэт Пакувий заметил: «Жалованье делает человека рабом». Советское государство монополизировало статус работодателя и, соответственно, плательщика жалованья и распределителя прочих благ, что в условиях экономики дефицита было не менее важным. И это монопольное положение у пульта распределения средств существования беззастенчиво использовалось властью в целях принуждения и манипуляции. Начиная со сталинского периода условием получения зарплаты стала для интеллигента безусловная политическая лояльность. При этом требования к проявлениям выражения этой лояльности все повышались, а кары по отношению к не прошедшим проверочных «тестов» становились все более жесткими. Уровень же содержания интеллигентов (пожалуй, именно слово «содержание» точнее всего передает суть отношения к ним власти) был унизительно низок. Достаточно вспомнить о буквально нищенской в ту пору зарплате, установленной для самых массовых и, может быть, самых важных интеллигентских профессий — учителей и врачей.

Что же касается обмена плодами размышлений, то здесь надзор по своей строгости (по «бдительности», используя язык той эпохи) был сравним лишь с контролем над самыми опасными видами уголовной преступности, а в некоторых отношениях и превышал его. Советская интеллигенция постоянно находилась под пристальным опасливо-недоброжелательным наблюдением власти, причем главным исполнителем этой функции были карательные органы. Самые естественные проявления интеллигентского сознания и образа жизни — критическая и скептическая реакция на социальную действительность, потребность публично высказываться и обмениваться мнениями по острым вопросам, склонность к созданию неформальных групп для обсуждения общественно важных проблем — расценивались, преследовались и карались как тяжелейшие преступления.

В качестве дополнительного способа управления (вернее — манипулирования) интеллигентами использовалась тогда еще весьма распространенная в интеллигентской среде установка на жертвенную самоотверженность во имя светлого будущего, во имя народа. Ведь российская интеллигенция традиционно была единственной группой, члены которой в массе своей были способны ради идеи поступиться собственной выгодой, подняться над личными и групповыми интересами¹. И эти ее альтруистские черты цинично эксплуатировались властями, когда им требовалось получить эффективную отдачу от ее творческого и трудового потенциала. Сознание приносимой пользы (к сожалению, очень часто иллюзорное) согревало интеллигентскую душу, давая ощущение не напрасно проживаемой жизни. А деятели режима с холодной расчетливостью на этом спекулировали. Один из горьких парадоксов положения интеллигенции в том и состоял, что, будучи лишенной возможности проявить себя в каких-либо иных сферах, она устремлялась на единственный сохранившийся для нее открытым путь — в ущелья узко профессиональной деятельности. И подчас добивалась на этом поприще значительных успехов.

Ведь научно-технические основы могущества режима, особенно в военной сфере, но не только, были созданы, главным образом, интеллигентами. В некоторых случаях плоды их труда все-таки в конечном счете шли на пользу объекту их помыслов — народу, в других — объективно приносили ему вред. Но режим выигрывал в любом случае.

Ну, а сама интеллигенция влачила существование, совершенно не соответствовавшее ни ее объективной значимости, ни даже ее социальному статусу в царской России. Исключение делалось лишь для тех групп, которые режим по тем или иным соображениям считал нужным подкармливать особо. Ценность интеллигента определялась только одним: служит ли он «делу революции и пролетариату» (идеологическая зашифровка собственных интересов режима и элиты), и если «да», то насколько он сегодня полезен. Причем подобный цинично-утилитарный подход провозглашался тогда с полной откровенностью, безо всякого камуфляжа, в отличие от последующих времен.

Но даже ограничение интеллигентского существования замкнутыми профессиональными расселинами не гарантировало ей физической безопасности. В периоды прилива репрессий их волны вымывали интеллигентов и оттуда. Конечно, все это не могло не

¹ Именно поэтому в нашей традиции разделены понятия «интеллигент» и «интеллектуал».

повлечь за собой серьезных деформаций в интеллигентском самосознании. И с начала 30-х годов появились и начали интенсивно развиваться симптомы упадка и даже вырождения нравственных ценностей интеллигенции, произошел ее психологический надлом.

Тем не менее, несмотря на явное снижение качества интеллигентской «породы», ее этика и характер поведения даже в годы самых широких и свирепых репрессий определялись отнюдь не только задачами выживания, физического самосохранения, не одними шкурными и узкопрофессиональными интересами. В целом, не переставали действовать нравственные запреты на доносительство, на делание карьеры на чужой беде, на отказ от посильной помощи преследуемым. Конечно, здесь не следует впадать в идеализацию: эти нравственные установки нередко нарушались по мотивам страха, а порой и личной выгоды. Были случаи и осознания аморальности своих поступков, нередко оканчивавшиеся трагически. Хотя, как известно, интеллигенты бывают весьма изобретательны в нахождении самооправданий. Но нарушители табу встречаются всегда и везде. И до тех пор, пока они подвергаются какой-либо из форм остракизма или хотя бы просто сталкиваются с явно выраженным неодобрением со стороны членов их референтной группы, их действия не влекут за собой общей эрозии норм. Так в те времена было и в интеллигентской среде.

Более того. Ни девальвация интеллигентских моральных ценностей, ни антиинтеллигентская кадровая и идеологическая политика, ни пресс репрессий не смогли парализовать очень важной традиционной общественной функции интеллигенции. Я имею в виду сбережение в условиях «ледникового периода» той совокупности культурных навыков и ценностей, которая служит необходимой предпосылкой выживания самой культуры.

Конечно, эта функция выполнялась исподволь, не в полной мере, часто вперемежку с делами, не красивыми облик таких адаптированных интеллигентов. И все-таки, если наше общество и не деградировало до уровня необратимого духовного оскудения и одичания, то лишь благодаря этим полуподпольным хранителям головешек от растоптанных революцией интеллигентских костров.

Церковь на коленях

Теперь несколько слов о месте и положении церкви. Как уже говорилось, она была «уволена» с государственной службы новой властью, поскольку та располагала собственными идеологической доктриной, символами веры и механизмами идеологического принуждения. Наше православие впервые за долгие века фактического

духовного монополизма не только лишилось поддержки светской власти, но и оказалось перед лицом сильного, консолидированного противника внутри страны, на которую оно привыкло смотреть как на свою духовную вотчину. Для него настал час действительного испытания жизнестойкости: для клира — необходимости отстаивать свое идеиное знамя перед лицом идеологии агрессивно атеистической и к тому же слитой воедино со светской властью, для паствы — необходимости поддержать церковь в нелегкое время. Проявить готовность пострадать «за святую веру отцов». И нужно прямо и с горечью констатировать: этого испытания ни церковь, ни православные миряне в целом не выдержали. Тут нельзя не отметить, что и в дореволюционные времена положение официальной православной церкви почти как государственного института фактически подорвало основы подлинной религиозности.

У церкви не нашлось внутренних ресурсов для духовного противостояния воинствующему безбожничеству, а «народ-богоносец» не поддержал православие в трудный час. Когда оно утратило статус государственной религии да еще и оказалось, что открытая верность ему может привести к некоторым житейским затруднениям, произошло поразительное по масштабам и быстроте отпадение от него основной массы населения.

Кстати, СССР в этом отношении печальным образом отличается от других восточноевропейских стран. Там тоже после прихода коммунистов к власти начались гонения на церковь и верующих по советским рецептам. Однако они натолкнулись на стойкое противодействие вплоть до готовности к самопожертвованию и довольно быстро сошли на нет, уступив место модусу некоего сосуществования в разных вариантах.

Теперь из разных источников¹ мы немало знаем как о гигантских масштабах антицерковных репрессий, о жестоких, порой садистских расправах над священнослужителями, монахами, просто верующими мирянами, о грабежах церквей и монастырей советскими правительственными службами и отрядами, так и о многих актах героического сопротивления государственному бандитизму. Однако самым трагичным во всем этом была практически безучастная позиция основной массы населения страны, пассивно наблюдавшей за разгромом и надругательством над якобы едва ли не извечными основами его мировоззрения. Конечно, объективность требует не забывать о том пассивном сочувствии гонимой церкви,

¹ Постоловский Д. В. Русская православная церковь в XX веке, М. 1995; Крестный путь церкви в России 1917–1987. Frankfurt am Main. 1988; Коммунизм и народное сопротивление в России 1917–1991; Яковлев А. Н. По мощам и елей. М. 1995.

которое существовало среди довольно значительной части населения, а также об отдельных попытках паства как-то ей помочь или даже за нее заступиться. Но, в то же время, нельзя забывать и о том, что в кампании травли церкви участвовали сотни тысяч, если не миллионы людей, т.е. в большинстве своем тот же «от веку православный народ». И антицерковные активисты показали себя несравненно более мощной и организованной группой (даже отвлекаясь от факта их поддержки государством), чем их оппоненты с противоположного полюса. История же взаимоотношений церкви с властью после временного прекращения прямых преследований, т.е. в «поздне сталинский» период — тема особая и, увы, тоже имеющая горький привкус в нравственном плане.

Победоносная война против крестьянства

Обсудим теперь судьбу класса, по численности составлявшего в стране абсолютное большинство, — крестьянства. Не будем касаться «черного передела» и разгрома помещичьих усадеб в 1917 г., террора продразверстки и прокатившихся в ответ на него массовых крестьянских восстаний. Начнем с 1921 г., когда, практически прекратив производство товарной сельхозпродукции вследствие полной утраты стимулов, деревня фактически взяла власть за горло и вынудила ее отступить от политики военного коммунизма, что стало решающим фактором в принятии знаменитого решения XI съезда ВКП(б) о переходе к продналогу и НЭПу.

Новые правила хозяйственного поведения в определенных пределах поддерживали предприимчивость, трудолюбие, способствовали повышению личного жизненного уровня. Новые же хозяева страны поначалу в чем-то даже казались лучше прежних: они устранили некоторые несправедливости прежнего времени и к тому же импонировали крестьянской массе своей социальной близостью и понятной фразеологией. Правда, забирали они в форме обязательных поставок, налогов и т.д. немалую долю крестьянского труда, но к этому крестьянам было не привыкать: раньше случались хозяева и покруче, и отбирали порой поболе.

Главное, что такая полусвободная жизнь не препятствовала естественным процессам социальной дифференциации, при которой более способные и трудолюбивые постепенно добиваются большего благополучия. Все это довольно быстро сказалось и на товарном рынке, способствовало прекращению голода, разрухи, постепенному подъему общего уровня жизни после его катастрофического падения в первые революционные годы. Соответственно, и государство стало получать от сельхозпроизводителя значительно больше

продукции и средств. Словом, посредством более или менее нормального хозяйственного развития произошло то, чего тщетно пытались добиться комиссары в кожанках и с маузерами.

Но идиллия продолжалась недолго. Новая власть (как, впрочем, по большей части и прежняя) не могла ужиться даже с относительно независимым от нее классом. Управление с помощью механизмов косвенного регулирования не соответствовало ни российским политическим традициям, ни тем более характеру и духу нового режима. «Не за то боролись» большевики, чтобы выпустить из-под своего контроля жизнь большей части общества, отдав ее во власть «мелкобуржуазной стихии». Ведь при этом, с одной стороны, режим был бы вынужден отказаться от применения тех инструментов и способов управления, которые составляли главный источник его силы (жесткое прямое регулирование при помощи административных, военных и идеологических рычагов), а с другой — деревенское население приобрело бы относительную независимость от власти. А любое подобное самоограничение, с точки зрения автократии, ослабляет власть и потому неприемлемо.

Социально-экономическая ситуация в городе (неспособность власти принять эффективные меры по восстановлению развалившейся в годы революции промышленности, по организации производства нужных населению промышленных товаров, по обеспечению людей работой) тоже подталкивала режим в сторону крайних мер. Перемирие власти с крестьянством оказалось непродолжительным. Очень скоро стали угадываться «кануны» — предвестники рокового поворота событий. Власть все более бесцеремонно вмешивалась в хозяйственную жизнь деревни, усиливала пресс налогов, поборов и всевозможных обложений. Причем доминирующая доля тягот возлагалась на плечи станового хребта деревни — эффективно работающих и потому сравнительно зажиточных крестьян. Шло откровенное заигрывание с «голытьбой», с «деревенским пролетариатом», т. е. с теми, кто даже в условиях значительной государственной поддержки не смог успешно хозяйствовать и выбиться из бедняцкого прозябания. Но и это было лишь прелюдией к последующему тотальному разгрому, закабалению и разграблению деревни.

Экономическая же подоплека событий такова: поскольку власть не могла предложить крестьянам в обмен на их хлеб достаточное количество промышленных товаров, то нужно было либо срочно обеспечить их производство, либо отнять хлеб. И после внутрипартийной дискуссии, в ходе которой сторонники умеренного, основанного на более или менее нормальных экономических предпосылках курса, были задавлены сталинистами, в 1929 году власть

приняла однозначное решение. Вместо развития партнерских отношений с крестьянством, избрав стратегию его ограбления и закабаления под лозунгами «сплошной коллективизации» и «уничижения кулачества как класса».

И страна почти не заметила — еще один из страшнейших парадоксов сталинского времени — какая жуткая вивисекция была произведена на ее теле. О подлинном смысле, масштабах трагедии, ее ближайших и отдаленных последствиях долгое время практически никто не догадывался. Да и о самих событиях, помимо их крайне кущей официальной версии, мало кто знал (во всяком случае в городах). Лишь постепенно правда о судьбе этого «бесписьменного народа» (выражение А. Солженицына) начала просачиваться наружу. Даже число жертв коллективизации до самого конца существования СССР оставалось тайной. Да и существуют ли прямые данные? Кто мог быть заинтересован в подобного рода учете? И сегодня в дискуссиях о голодоморе фигурируют цифры с почти четырехкратным разбросом — от 3 до 11 миллионов!

С точки зрения нормальной политической экономии насильственная массовая коллективизация была полным абсурдом. Вряд ли в европейской истории XIX–XX веков, т.е. во времена, когда теории Адама Смита и его последователей стали неотъемлемой частью сознания образованных людей, можно найти аналогичный пример столь явного пренебрежения законами экономического развития при принятии политического решения.

Экономический детерминизм, на словах провозглашавшийся большевиками, был заменен политикой некомпетентного административного диктата, произвола и террора по отношению к целому классу производителей. По существу, власти провели настоящую кампанию по завоеванию деревни со всеми соответствующими атрибутами — применением военной силы, грабительскими контрибуциями, опустошением целых областей, массовыми депортациями, передачей населенных пунктов под управление присланных комендантov с чрезвычайными полномочиями, опорой на коллаборационистов из числа «покоренного» населения, созданием «пятой колонны» и марionеточных органов самоуправления, идейным разложением и деморализацией «противника» и т.п. Кампания велась со всей серьезностью и закончилась полной победой. Именно так ее стратеги и проводники воспринимали происходившие в деревне события. Не случайно проведенному в 1934 году XVII партийному съезду — первому после завершения коллективизации — было дано название «съезда победителей». Пожалуй, бухаринская формулировка «военно-феодальная эксплуатация крестьянства» достаточно точно передает суть этой кампании.

К несчастью, у нас в России, в отличие от Украины и в меньшей мере от Казахстана, размах трагедии голодомора, масштабы катастрофических последствий войны большевистской власти против «кормильца» общества, а также воцарившейся в деревне системы отношений, мало отрефлексированы общественным сознанием, несмотря на то, что и в художественной литературе, и в публицистике для этого есть довольно много материалов. Мы же обратимся к факторам, обеспечившим режиму перевес и победу в борьбе против составлявшего абсолютное большинство населения класса кормильцев.

Здесь, пожалуй, на первое место следует поставить традиционный стереотип покорности, повиновения сильной власти. Этот фундаментальный стереотип российского национального сознания в наибольшей степени присущ крестьянству. Лишь на первый взгляд противоречат ему периодические крестьянские бунты и поджоги помещичьих усадеб, сполохи которых почти все время мерцают на заднем фоне российской истории. Дело в том, что эти спонтанные импульсы бессмысленной ярости работали на укрепление того же стереотипа, ибо служили лишь клапаном для выпуска социального пара. Подобные вспышки диких страсти, сопровождавшиеся вандализмом, бессмысленной страшной жестокостью имели иррациональную основу. При всем желании в них трудно обнаружить не только сколько-нибудь осознанную программу действий, но даже элементарно разумную линию поведения. Внезапно возникнув, они столь же внезапно гасли, не только не закрепляя в крестьянском сознании каких-либо зачатков идеи о праве народа на сопротивление несправедливым притеснениям власти, но, напротив, порождая синдром «повинной головы», еще больше усиливая стереотип рабского повиновения хозяину. И чем круче на расправу хозяин, тем большим должно быть повиновение ему. Эта установка в полной мере и сработала во время коллективизации.

Во-вторых, значительную роль сыграли, разумеется, прямое принуждение и насилие. Они осуществлялись двумя взаимосвязанными силами — военными частями НКВД, проводившими аресты, расстрелы, высылку в лагеря и на поселение «кулаков и подкулачников», и корпусом 25-тысячников — направленных из города партийных эмиссаров с диктаторскими полномочиями, имевших право применять любые меры для достижения установленных «контрольных цифр» по раскулачиванию, коллективизации и изъятию продовольствия.

В-третьих (по порядку, но не по важности), Сталин и его аппарат использовали в несколько модернизированном виде тот же

механизм опоры на люмпенов, который был одним из основных политических факторов, обеспечивших победу режима в революционные годы. Тогда это была опора на деклассированные элементы и тех, кто считал себя несправедливо обиженным судьбой, теперь — опора на деревенских люмпенов-выдвиженцев, а также на «актив». В деревне эта никчемная при других обстоятельствах категория людей зацепилась за большинство ключевых позиций в новой структуре реальной власти. Режим видел в них главных проводников своего влияния и политики. Они же понимали, что их благополучие целиком зависит от готовности служить режиму изо всех сил, а лишившись его поддержки, они неминуемо потерпят крах. Понимание этой своей зависимости, а также распавшее их подсознательное ощущение собственной ущербности определяли их собачью преданность режиму, способность без колебаний, по первому зову выполнить любую грязную работу.

«Актив», в отличие от эмиссаров Центра, главным образом состоял из тех крестьян, которые по-прежнему оставались органичной частью деревенской социальной структуры, но частью довольно специфичной. «Активизм» в советском понимании слова есть не что иное, как *деятельное приспособленчество, активный конформизм, небескорыстная подчеркнутая демонстрация лояльности власти*, готовность всячески перед ней выслуживаться. Обычно он присущ тем членам группы, которые, не преуспев на своем основном поприще, в данном случае — в сельском хозяйстве, стремятся взять реванш за счет псевдодеятельности, прежде всего за счет показного рвения при выполнении указаний и даже невысказанных прямо пожеланий партийных и полицейских хозяев, т.е. лиц, способных наказать и поощрять. Подобная активность обычно вознаграждается как хозяйствами подачками, так и присвоением толики отнимаемого у других. Помимо материальных стимулов проводившим раскулачивание сельским «активом» двигали еще зависть к более преуспевшим соседям, пьянящее сознание безнаказанности и другие подобные «возвышенные» чувства, мастерское использование которых всегда отличало режим. В поведении «активистов» играл, конечно, свою роль и идеологический фактор — вера в абстрактную справедливость совершающегося, которая поразительным образом усиливается, если совпадает с личной выгодой.

В-четвертых, кампания коллективизации оживила и проэксплуатировала традиционные стереотипы крестьянского сознания, в совокупности составлявшие общинную этику. Ведь в известной степени лозунги коллективизации об обобществлении и уравнении отвечали еще далеко не отмершим тогда извечным традициям крестьянской общины — «мира». И традиции эти, принципиально

не противоречавшие экспансии деспотизма, во многом содействовали еще более жестокому закрепощению российской деревни.

Наконец, назову такой фактор, как массированная идеологическая кампания социально-психологического принуждения и деморализации «классового врага».

В качестве интегрирующего обстоятельства, предопределившего успешность действий власти, представляется, что ее политика, включая самые жесткие, репрессивные акции, осуществлялась руками выдвиженцев, т.е. «социально близких» элементов. Тем самым создавалась иллюзия народовластия, что значительно повышало устойчивость политической системы. Механизм этот использовался не только в деревне. Он носил универсальный характер. Н. Бухарин, уже на краю гибели, в своей последней опубликованной статье «Маршруты истории — мысли вслух»¹, говоря о тоталитарных режимах, прозрел его зловещую сущность.

Власть рабочих?

Пока что мы видели, что за исключением «нового класса» — новой «элиты», послереволюционное развитие страны несло разным слоям населения гораздо больше зла, чем добра. Но, может быть, такой ценой было оплачено счастье «передовой части общества»? Ведь принято считать, что рабочий класс был гегемоном революции, что советские преобразования совершались прежде всего в его интересах. Но подобная конструкция, на мой взгляд, далека как от исторической справедливости, так и от исторической истины.

Претензии ее на справедливость перечеркиваются тем обстоятельством, что рабочие и перед революцией, и долгое время после нее составляли очень незначительную часть населения страны. По официальным данным, в 1913 г. в России их было около 3 млн — всего около 2% населения; за годы революции и гражданской войны их число сократилось более чем вдвое — даже в 1925 г. оно не доходило до 2/3 предвоенного уровня и составляло всего 1,8 млн; лишь после десяти лет форсированной индустриализации, к 1937 г., количество рабочих достигло 10-процентного рубежа, что составляло 17,5 млн. Даже если считать рабочих вместе с членами их семей (а, зная обычай советской статистики, тут никак нельзя поручиться за отсутствие в этих случаях так называемого «повторного счета», т.е. учета одних и тех же лиц по несколько

¹ Бухарин Н. И. Маршруты истории — мысли вслух // Известия ЦИК. 1936. 6 июня.

раз), то в 1928 г. они составляли 12,4%, а в 1939 г. — 33,5% населения¹. И интересы этого явного меньшинства были провозглашены высшим приоритетом, в жертву которому были принесены интересы всех прочих!

Теперь об истинности лозунга о пролетарском государстве. Здесь, видимо, следует обратиться к внутренней структуре рабочего класса. Перед революцией его ядром были кадровые рабочие, хотя они и не составляли арифметического большинства. Однако мировая, а затем гражданская война, эпидемии, голод уничтожили большую их часть. Постепенное восстановление численности рабочих, а затем ее скачкообразный рост в годы индустриализации происходили главным образом за счет выходцев из деревни. В итоге кадровые рабочие стали составлять ничтожную часть класса. Большинство же образовалось из вчерашних крестьян, которые либо не нашли себе применения в деревне, либо бежали оттуда, спасаясь от коллективизации. Поэтому по своей культуре и психологии они были теми же люмпенами, только не нагло-агрессивными, как выдвиженцы, а неуверенными, запуганными, плохо ориентирующимися в новой жизненной обстановке и податливыми для любого внушения и давления.

В советские времена было принято считать, что именно кадровые, потомственные пролетарии всегда оказывали большевистской партии наиболее твердую поддержку, видя в ней свое представительство. В число кадровых рабочих входила значительная прослойка так называемой рабочей аристократии, т.е. наиболее квалифицированных и, соответственно, высокооплачиваемых рабочих, которые по своему образу жизни и типу сознания были ориентированы не столько на «братьев по классу», сколько на средние слои городского населения. Они были более или менее удовлетворены своим материальным положением, заинтересованы в социальной стабильности и потому не могли быть последовательными сторонниками большевистского экстремизма. Но, помимо того, известно и об упорном сопротивлении, которое оказывала большевистской власти в первые месяцы и даже годы после переворота значительная часть « рядовых» рабочих.

Конечно, вопросы эти нуждаются в специальном исследовании. Но, думается, и уже имеющиеся знания служат серьезным основанием, чтобы поставить большой вопросительный знак на одной из краеугольных доктрин официальной партийно-советской историографии — концепции рабочей власти. Разумеется, определенная и, вероятно, достаточно значительная часть рабочих активно

¹ См.: БСЭ, т. 21. М., 1975, с. 315, 316, 318.

поддерживала режим. Но если принять во внимание сказанное, возникает естественный вопрос: а не слишком ли узка социальная база режима, претендовавшего на роль народной власти? Не точнее ли назвать его *властью люмпенов*?

Так что представляется, что миф о «народной власти», использовавшийся для теоретического «освящения» политической практики террора, при более или менее структурированном взгляде не выдерживает никакой критики. Скорее можно сказать, что народ затравили *«медные всадники, опиравшиеся на худших его представителей, на выродков из народной среды — смердяковых и опричников, а также на извечную системоцентристскую традицию народной покорности олицетворяемой властью судьбе*, на готовность безропотно и даже с некоторым воодушевлением маршировать в колоннах по предписанным властью маршрутам, под дробь идеологических барабанов.

Тема сталинизма так же неисчерпаема, как тема мирового зла. И поскольку она не является главной темой книги, оставим ее. А в заключение раздела обозначим еще несколько проблем, заслуживающих специальных исследований и дискуссий.

Общество, отравленное моральной легитимизацией террора

Фундаментом могущества системы, несомненно, была машина террора, челюсти которой за период сталинизма перемололи десятки миллионов человеческих жизней. Анализ этого механизма — большое исследовательское поле. Но не менее важно понять, как и почему общество приняло террор в качестве допустимой и оправданной формы управления собой, почему не возникало серьезных проблем с «подбором кадров» исполнителей, а сами воспоминания о тех страшных временах до сих пор, в общем, не находят адекватного отклика в массовом сознании, а то и отторгаются им, не выполняют роль сигнальных, предостерегающих огней? Десять — пятнадцать лет назад я ставил вопрос «есть ли социальная база для рецидивов сталинской опричнины? Сейчас, к сожалению, приходится ставить его иначе: «какова она, каков ее состав?»

С позиций подхода, изложенного в нескольких моих предыдущих книгах, это объясняется тремя причинами. Во-первых, *кровавый кошмар сталинщины отнюдь не был неким случайным эпизодом русской истории, а лишь продолжил движение по накатанной колее нашей древней авторитарской традиции* периодических действий власти по геноциду собственного народа. И деяния Ивана Грозного, Петра I, красный террор — лишь самые грандиозные по

масштабам, но далеко не единственные примеры. Можно без труда назвать немало и других, просто менее масштабных кампаний, когда тысячи и тысячи жизней подданных походя приносились в жертву или швырялись на кон политических игр в качестве мелкой, почти ничего не стоящей монетки.

Во-вторых, *в процессе сталинского геноцида были почти подчинистую вытравлены ростки другой, куда более молодой и, соответственно, менее распространенной и укоренившейся персоноцентристской, либерально-демократической традиции отношения к личности.* Причем сплошная «химическая обработка почвы» в сталинский период стала лишь кульминационным актом по ее уничтожению: серьезнейший, а возможно, и решающий урон она понесла уже на ленинском этапе.

В-третьих, *поскольку в сталинские преступления были в той или иной степени втянуты, по меньшей мере, как пассивные соучастники либо свидетели миллионы людей, это самым пагубным образом сказалось на уровне общественной морали в целом.* Ясно, что в пределах одного поколения моральная деградация необратима. Более того, людей, жизнь которых пришлась на период разгула сталинщины, можно с грустью назвать пожизненно испуганным поколением. Но и сейчас, по прошествии стольких десятилетий, мы видим, что это зловещее прошлое не умерло. Все новые поколения в своей немалой части предпочитают оставаться в полумраке зловещей тени, которую отбросило в будущее сталинское время, не поддерживая попыток перебраться на новую историческую колею. Увы, перспективы исчезновения «штамма» сталинщины выглядят сегодня довольно проблематично.

Мы как страна, как общество, «проиграли» XX век и, реанимировав наиболее косные черты национального сознания, в лучшем случае протоптались на месте, потеряв столь важное, а, может быть, и невосполнимое время для позитивного развития. Система обанкротилась, но люди, взращенные ей, так называемый homo soveticus, не исчезли. У них началась, а во многом и продолжается до сих пор, жестокая морально-психологическая «ломка». Она перешла даже на следующие поколения, не испытавшие «прелестей» советской жизни. Общество оказалось в яме моральной аномии, безнормативности и потому столь легко клюнуло на приманки «стабильности» и «державности».

Проблема обманутого поколения

Рассматривая феномен сталинизма, можно многое не понять, если строить анализ лишь на таких категориях, как «палачи», «жерт-

вы» и «запуганные». Значительной части современников и участников событий (не берусь давать количественные оценки) картина представлялась окрашенной в иные тона. Многие, очень многие верили в разумность и справедливость происходящего, в то, что режим действительно создает условия для новой, небывало прекрасной жизни, которая уже совсем рядом, за ближайшим историческим поворотом. Скорейшему же его наступлению мешают сонмы всевозможных врагов и реакционеров, против которых, в силу их особой опасности, допустимы любые средства борьбы. И они, выполняя преступные приказы, надрываясь на непосильной работе, вкладывая все силы в укрепление античеловеческого режима, рапортую вождю о выполнении и перевыполнении его указаний, маршируя в приветственных колоннах, не только не сознавали, что служат марионетками в чудовищных манипуляциях десятками миллионов человеческих судеб, а искренне верили, что действуют для пользы общества. Когда же разум и совесть отказывались принять особенно страшные и несправедливые акции режима, на помощь приходила спасительная, парализующая ум и волю формула о лесе и щепках. Подобную массовую aberrацию психики можно попытаться объяснить, опираясь на несколько видов социально-психологических механизмов.

Во-первых, это защитные механизмы, именуемые замещением и рационализацией. Суть их в том, что сознание склонно вытеснять неприемлемую для него информацию о мире и заменять ее пусть ложными, но приемлемыми представлениями. Трудно жить, понимая, что служишь орудием преступной власти. Поэтому человек с готовностью идет на самообман, изобретая либо позволяя внушиТЬ себе любой миф, который приукрашивает власть и ее цели. Словом, люди по большей части предпочитают верить в то, во что им верить удобно. А это тем более легко, когда удобные версии буквально навязываются машиной идеологической пропаганды.

Тут вступают в действие механизмы суггестии и контрсуггестии (внушения и психологического сопротивления ему). В советских условиях суггестия была особенно эффективной, так как отсутствие свободы печати и слова и, напротив, традиция признания высшей авторитетности высказываний, прямо или косвенно исходивших от власти, делали массовое сознание абсолютно незащищенным от инъекций официальной пропаганды. Обычные для западной политической культуры фильтры скепсиса, недоверия, самостоятельного критического размышления над политическими вопросами (т.е. контрсуггестии) в России начали вырабатываться лишь со второй половины XIX века, да и то в ограниченных масштабах и с попятными движениями. Поэтому они были непрочны

и рухнули под массированным напором воинствующей лжи и популуправд. В дело пошли и сладкоголосые песни леворадикальных сирен, и возвышенные утопии коммунистических идей, и, параллельно, заходящийся в злобности «лай своры», остервенело травившей любые формы и проявления нонконформизма (т.е. контрконтрсуггестия). И потому о подданных сталинской империи следует говорить и как об обманутом поколении.

Еще один психологический аспект проблемы состоит в крайне болезненной для многих потере объекта психологической символизации, самоидентификации. Очень многие идентифицировали себя именно как «советских людей», что, признаться, имело определенные основания. Лично я не имею каких-либо оснований жалеть об утрате этой дурной формы идентичности (да я, если ей и был подвержен, то в очень ослабленной форме), но для многих людей, проживших большую часть жизни с сознанием принадлежности к ней, это стало тяжелым ударом. Ведь, в конце концов, большинство людей не виновато, что их кумиры на поверку оказались людоедами и монстрами. Даже в посленацистской Германии, где разоблачение предыдущего государства как преступного десятилетиями было одним из национальных приоритетов, социологические опросы долгое время фиксировали немалую долю ностальгии по прошедшему. У нас же в этом направлении было сделано неизмеримо меньше, а последние годы мы наблюдаем и целенаправленные движения в прямо противоположном направлении, по возрождению просталинской мифологии. Есть и еще один момент: демонстративное отнесение себя к «советским» в формах использования соответствующих атрибутов (маек, портретов, флагов), по-моему, отчасти представляет фрондерскую форму выражения неприятия настоящего с позиций идеализации прошлого.

О феномене «муравьиного героизма»

Часто недоумевают: почему столь бесчеловечная система, как сталинизм, проявляла такую живучесть в кризисных обстоятельствах и не только не рассыпаясь (как рассчитывал, например, Гитлер), но, напротив, демонстрируя весьма высокую эффективность и волю к самосохранению? Почему вообще народ, попадая в экстремальные условия, зачастую по прямой вине своих властителей, не только не отказывал им в повиновении, но и поддерживал их еще самоотверженнее? Подобные вопросы с наибольшими основаниями можно адресовать к периодам индустриализации и войны. Но помимо перечисленных, есть еще один источник повышенной устойчивости режима. Господство в обществе антиин-

дивидуалистского сознания, оценка человека лишь с точки зрения его полезности для некоего целого, для коллектива, создают почву для феномена «муравьиного» героизма. Я имею в виду довольно широко распространенную среди сталинских поколений советских людей готовность к нерассуждающему самопожертвованию ради коллективных (или якобы коллективных) целей. Этот феномен ярко проявлялся не только в военных условиях, но и в хозяйственной деятельности. Очень часто система в качестве главного своего ресурса эксплуатировала так называемый трудовой геройзм, т.е. работу людей, по своим условиям и интенсивности явно ненормальную, на износ, а то и на погибель.

Думается, что такого рода антиличностный геройзм по своим моральным и психологическим стимулам существенно отличается от геройзма личностного, проявляемого, например, в экстремальных обстоятельствах людьми персоноцентристского склада. В этом случае принесение человеком себя в жертву (под жертвой в данном контексте понимается не только утрата жизни, но и отказ от части собственных личных прав и интересов) воспринимается и им самим, и социальным окружением как высокий акт самоотречения. При этом цель, за которую платится такая цена, разумеется, тоже должна быть очень высокой, а сама жертва — оправданной и вынужденной. Словом, геройческий поступок совершается в обстоятельствах, действительно чрезвычайных, иным путем не преодолимых, и потому является актом исключительным.

В условиях же сталинщины принесение себя в жертву превратилось едва ли не в норму, т.е. в тот тип поведения, которого социальное окружение ожидает от человека в ситуациях хотя и трудных, но объективно далеко не всегда безвыходных и не требующих столь высокой платы. Впрочем, жертвы эти, в силу их социальной санкционированности и низкой цены человеческой жизни на социальной шкале, отнюдь не считались такими уж исключительными. (Уже в 70-е годы армейские политработники, ссылаясь на данные якобы «социологических опросов солдат», хвастались, что во вверенных им частях 90% личного состава выражали готовность без раздумий повторить подвиг А. Матросова!) Оставим на усмотрение читателя решить, какой из двух видов геройзма выше в нравственном отношении. Но очевидно, что сталинскому режиму традиция «муравьиного» героизма сослужила немалую службу, позволяя без особых затруднений залатывать пробоины своего корабля человеческими жизнями, что вряд ли было бы возможно на основе геройзма личностного.

Все книги издательств
«Социум», «Мысль» и ИРИСЭН
можно приобрести в интернет-магазине
SOTSIUM.RU

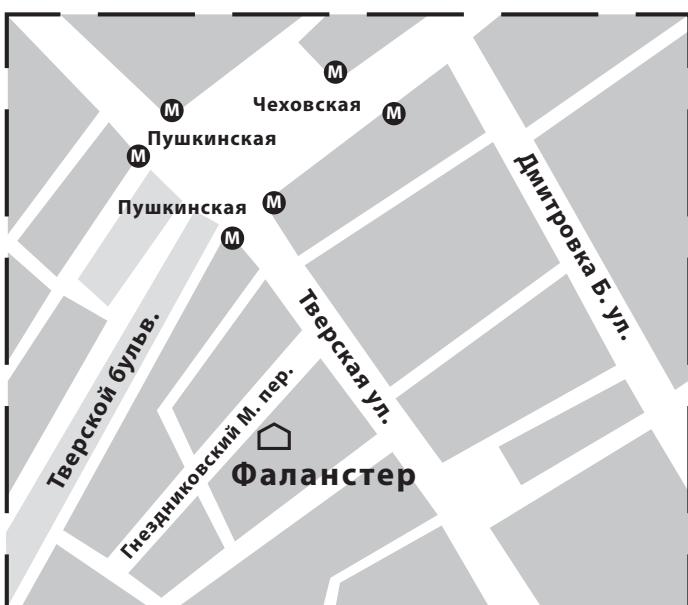
В Москве книги издательств
«Социум», «Мысль» и ИРИСЭН
можно купить в магазине

«Фаланстер»

Пн-Вс 11⁰⁰—20⁰⁰

м. Тверская, Пушкинская, Чеховская
Малый Гнездниковский пер., 12/27

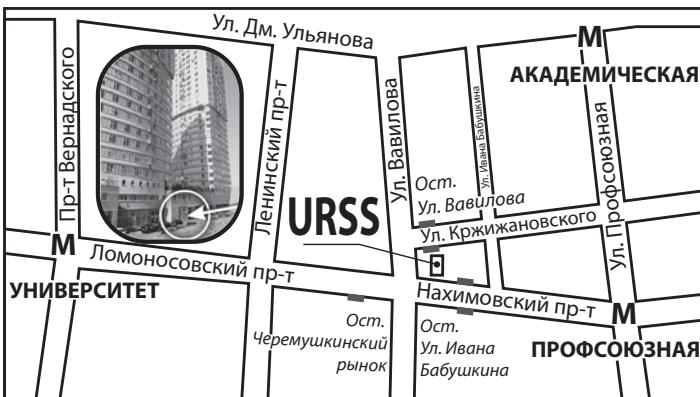
Вход в арке, над аркой вывеска "КНИГИ", 2-й этаж.
Тел.: (495) 749-57-21



В Москве все книги издательств
«Социум», «Мысль» и ИРИСЭН

всегда можно купить в магазине издательства URSS:

9³⁰–18³⁰ Пн–Пт
12⁰⁰–18⁰⁰ Сб–Вс
Нахимовский пр-т, д. 56
Тел. (499) 724-25-45



От м. Профсоюзная:

8 мин. пешком (до офиса) или одна остановка наземным транспортом:
автобусы №67, 37к, 130; троллейбус №43
до остановки «Ул. Ивана Бабушкина»

От м. Университет:

трамваи №14, 39 до остановки «Черемушкинский рынок»;
трамваи №22, 26 до остановки «Ул. Вавилова»;
автобусы №22, 26 до остановки «Ул. Ивана Бабушкина»



Александр Валентинович Оболонский

Доктор юридических наук, профессор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики». Основные темы его работ — бюрократия и государственная власть, реформы государственной службы в зарубежных странах и России, гражданское общество и протестные движения, этика публичной сферы

и политический цинизм. Оболонский разработал концепцию критических перекрестков в политической истории России как конфликта разных подходов к соотношению личности и государства — персоноцентризма и системоцентризма. Является автором многих книг, в том числе: «Драма российской политической истории: система против личности» (издана также в США), «Человек и власть: перекрестья российской истории», «Бюрократия для XXI века? Модели государственной службы: Россия, США, Англия, Австралия», «Кризис бюрократического государства», «Мораль и право в политике и управлении».

«О моральности/аморальности нужно писать затем, что игнорирование этой проблемы тоже есть проявление аморальности. А если последней ничто и никто не противостоят, это ведет к гибели общества — через гибель права, гибель институтов государства, в конечном итоге — распад. Ибо право, и институты современного государства базируются на вполне определенной этической системе».

Михаил Краснов

«Эти темы обычно вытесняются из публичного обсуждения ввиду их тесной связи с характером нынешней репрессивной и коррумпированной политической системы, с вопросами институционального, но неправового насилия, инерции и последствий тоталитарных практик, оставшихся от советского времени».

Лев Гудков

«Книга представляет собой попытку решить две взаимосвязанные задачи. Во-первых, охарактеризовать те общераспространенные нравственные установки, которые формируют общественно-политический ландшафт нашей страны. Во-вторых, выявить их источники и найти эффективные способы их изменения».

Андрей Прокофьев